

Его вельветовые брюки имели все еще очень приличный вид. За брюки он был спокоен. В присутственных местах можно непринужденно вытягивать ноги или класть одну на другую, слегка покачивая верхней. Впрочем, тогда видны мокасины, а их биография насчитывает выслугу лет куда более почтенную.

В присутственных местах, пожалуй, разумнее всего убирать ноги под кресло, тогда колени, обтянутые приличными брюками, на виду, а мокасины не мозолят глаза секретаршам, от которых, увы, так часто зависит многое.

Вот она, голубушка, вышла из кабинета. Пригласит к шефу? Или..

Он приподнялся в кресле, стараясь, чтобы выражение лица не казалось напряженным и ожидающим. Нет-нет, все легко и непринужденно. Ничего особенного не происходит. Просто человек с высшим образованием, с красным (на всякий случай) дипломом всего только полжиз-

6 ни не может устроиться на работу. И так — что же на этот раз?

Секретарша очень славная, надо отметить. Милое, чуть огорченное лицо. Ну-ну, девочка, не стоит из-за меня огорчаться, дело житейское. И так?!

— Петр Авдеевич, к сожалению, у нас все еще неясность в этом вопросе. Елена Ивановна ушла в декрет, но, как выяснилось, Инга Семеновна на будущей неделе как раз из декрета выходит... Ну и, вы понимаете...

— Понимаю, — подхватил он с улыбкой, с мерзейшей легкой улыбкой, выработанной его лицевыми мышцами в течение этих месяцев. — У вас налажено собственное производство новорожденных завлитов.

Она расхохоталась. Нет, она милая, ей-богу. Были бы деньги, пригласил бы ее... ну хоть в театральный буфет.

...Неужели все-таки придется вступить в эту унижительную, смехотворно мелкую игру: красиво сунуть секретарше коробку конфет, «уютно посидеть» с тем и этим инструктором министерства, появляться, крутиться, мелькать, внедряться «в круги», держа при этом в голове, кто в какую группировку входит, чтобы не ляпнуть, не дай бог, чего-нибудь или не столкнуть двух борзых из разных свор... Титаническая работа мозга и нервов, по плечу разве что разведчику из телевизионного шедевра.

Он приложился к мягкой выхоленной ручке, молча поклонился. И все это — чтобы ступить наконец на нижнюю ступень эскалатора, медленно ползущего вверх, на самую нижнюю, затоптанную, с ошметками сохлой грязи, ступеньку, — ах, потеснитесь же, дайте хоть левой ногою нащупать твердь, я повишу, я без претензий...

Врешь, братец, ты с ба-а-льшими претензиями. Прочь!

— Вы все-таки позванивайте, Петя, — секретарша понизила голос и многозначительно метнула глазками в сторону кабинета. — Вдруг что-нибудь да изменится... Вообще-то мы в вас заинтересованы.

Присвистывая и кивая знакомым физиономиям, он спустился по угнетающе величественной лестнице в служебный гардероб.

Много народу. Народу, говорю, слишком много в этом городе, в этой области искусства, какую вы, драгоценный Петр Авдеич, выбрали для приложения своего таланта, в существовании которого, кстати, так странно, так неизбежно уверены... Ну, довольно шута перед собою ломать. И что за милая привычка тихого сумасшедшего появилась у тебя в последнее время — беседовать с самим собою? Иди, дурак, и делай что должно, а то на пенсию тебя проводит незабвенная швейная фабрика и драмкружок, которым без малого три столетия ты руководишь...

Хорошо, что швейцар здесь не имеет привычки услужливо разворачивать перед тобой твой же старый плащ штопаной подкладкой наружу... Елена Ивановна в декрет, Инга Семеновна из декрета... Развели бабья кругом, бабье заправляет в искусстве!

Он навалился грудью на тяжкую, как чугуновая плита, дверь служебного подъезда, с вертикально привинченной табличкой «От себя», вышел на улицу и достал из кармана плаща мятую кепочку — ветер трепал над головою мелкий дождик.

Старуха, конечно, ничего толком не поймет, но не откажет себе в удовольствии покуражиться, особенно если вечером в мастерскую кого-нибудь черт принесет. В ее девяностопятилетней памяти перетасованы времена и нравы, ей кажется, что она по-прежнему профессор ВХУ-ТЕМАСа и стоит только позвонить Фаворскому или Левушке Бруни, как с Петей все моментально устроится. Маразма у старухи нет, этого и злейший враг не посмеет сказать, но бестолковость — сверхъестественная.

По поводу врагов: все они благополучно померли в прошлых веках, старуха победоносно их пережила и похерила, ныне ее окружают сплошь любимые друзья. Враг, притом злейший, остался только один: Петя...

Из-за фонаря выскочил бездомный сирота Шарик, которого здесь изредка и скудно подкар-

мливали, пристроился сзади на почтительный шаг и потрусил с Петей через дорогу к остановке. Перед прохожими прикидывался, да и перед собою тоже: вот, мол, и у меня хозяин есть.

Они перешли дорогу. Под навесом остановки Шарик топтался рядом, крутил хвостом и скромно посматривал вверх. Не навязывался, нет. Петя наклонился и почесал его мокрую спину. Шарик заныл от счастья.

— Ты чего такой худой? — спросил его Петя строго.

Шарик заплакал. И видно, что не из расчета, а так, растрогался.

— Дружище, взял бы, ей-богу, взял, я в тебе заинтересован, — сказал Петя громко, возложив по-оперному руки на грудь. — Но сам понимаешь: Елена Ивановна — в декрет, Инга Семеновна — из декрета...

Девушка в долгополом, очень модном пальто, сидевшем на ней как тулуп на ямшике, бочком отошла подальше. Это рассмешило.

— Взял бы, — продолжал Петя громко и душевно, — да старуха выгонит обоих... Два приبلудных пса — даже для нее многовато. А ты приходи в драмкружок швейной фабрики, я дам тебе роль волкодава...

Оттого, что с ним говорили так громко и ласково, сирота Шарик совсем размяк, он растилался у Петиних ног, молотил хвостом по

10 асфальту и закатывал глаза — то есть, по всему, находился на вершине блаженства.

— А что, швейная фабрика — это идея, — пробормотал Петя, опускаясь на корточки и бесцеремонно трепля разомлевшего пса. — А? Давай, друг, я уведу тебя из значных мест в места трудовой славы, например к вахтеру Симкину. Довольно быть прихлебателем у искусства, пора начать здоровую трудовую жизнь... Ну пойдем, здесь не очень далеко. Давай, восстань из праха. Прекрати, говорю, валяться, как слабоумный. Пойдем!

И они пошли в сторону переуллка, дружески беседуя. Последнее, что расслышала девушка в ямщицком тулупе, было:

— ...и перед смертью утешусь мыслью, что устроил судьбу одной хорошей собаки.

* * *

Не заглядывая к старухе, он поднялся в свою каморку, снял, бросил на кресло плащ, что случилось с ним очень редко даже в последние проклятые месяцы, и повалился на топчан.

Снизу, из мастерской, доносились голоса. Старуха бубнила басом — что-то рассказывала, она любит поговорить на тему «В мое время», хотя все времена считает своими. Несколько раз взрывался молодой и сильный смех женщины. Красивый, низкий и свободный смех. Кокетки

и глупенькие так не смеются. Нужно быть достаточно привлекательной, чтобы позволить себе подобную роскошь.

Ах да, утром старуха раз двадцать говорила, что Матвей начинает наконец писать ее портрет. Она помешалась на этом будущем портрете, как помешалась и на Матвее. Не будем мелочны — старуха вообще помешана. По этому поводу нельзя даже сказать, что она сошла с ума, потому что такой она и родилась на свет. И дело тут не в легендарных девяноста пяти годах. Пятнадцать лет назад, когда робким провинциальным мальчиком он был приведен кем-то из друзей в мастерскую на Верхней Масловке, с привычками и характером у могучей старухи дело обстояло примерно так же. С характером особенно. Впрочем, тогда его здесь все восхищало: эти неженские, мощные, в глине лапы с закатанными по локоть рукавами, эта агрессивная независимость и мгновенная реакция в любом разговоре с любым собеседником. Нужно было пятнадцать лет потереться об этот характер, чтобы, став неврастеником, понять наконец, откуда что взялось...

Так, значит, Матвей начал портрет. Вероятно, пришел он не один, а с новой женою. Первая не выдержала вдохновенного сожительства с гением и улизнула к нормальному человеку, не то шоферу, не то слесарю. Правда, черты ее не бу-

12 дут увековечены в «портретах жены художника», но зато в доме у нее теперь, надо полагать, чисто, покойно и не воняет скипидаром... Вторая, если она не дура, поступит так же.

Сойти, что ли, вниз, посмотреть на новую жену Матвея? Судя по смеху, это должна быть штучка.

Он поднялся, натянул старый домашний джемпер и, чувствуя зябкую сырость, пощупал батарею парового отопления.

Сволочь Костя! Только позавчера содрал с них едва ли не последнюю трешку, и пожалуйста — сегодня батареи опять едва теплятся. Он решил наорать наконец на подонка Костю, личного, как говорила старуха, слесаря. Хронический бездельник Костя приходился мужем Розе, которая иногда стряпала им, надо отдать ей должное, довольно вкусно, но слишком дорого. Роза, безусловно, их обкрадывала, и, черт возьми, правильно делала. Надо быть святой или безмозглой идиоткой, чтобы не почуять, как легко старуху обворовать, и не воспользоваться этим. И к чему, к чему в их жизни, ко всем остальным сложностям, нужна бесстыжая Роза?! Это все то же полное нежелание старухи осмыслить действительность и хоть как-то приспособиться к ней. Ну как же — она никогда и ни к чему не приспособливалась! Как же, как же — домработницу иметь необходимо, чтобы целиком отдавать себя творчеству

Она получает большую пенсию. Скажем так, самую большую, какую можно у нас получать. Но проследить, куда и когда испаряются эти деньги, совершенно невозможно — большая часть уходит на подачки даровитым алкоголикам из соседних мастерских, на праведное дело опохмела. Бывает, и крупные суммы приваливают, когда музей покупает какую-нибудь старую работу, но и это все течет сквозь пальцы, выбрасывается на ветер, раздается; наконец, просто исчезает. Буквально: лежала в конфетнице пятерка, заглянула Роза на минутку — и остался в конфетнице пшик с карамелькой... Нынче уж совсем туго. Размах у старухи прежний, а денег нет. Вот уже два месяца нет Петинной скромной зарплаты, а на нее, бывало, кормились, когда старухина пенсия исчезала вдруг за два дня.

Он спустился по деревянной лестнице в холодную, с цементным полом прихожую, мельком оглядел брикеты скульптурного пластилина на стеллажах, мешки с глиной и гипсом по углам, — слава богу, Роза хоть на это не зарится.

За обшарпанной дверью мастерской басила старуха:

— ...И вот что, Матвей, милый, расстелите-ка под этюдником газету и использованные тряпки бросайте на нее. А то сейчас явится сумасшедший Петька, и нам с вами влетит.

Ну да, сумасшедший Петька, пугало Петька, ничтожество Петька. Добавьте еще — нахлеб-

14 ник Петька, бесовестный туineaдец, сидящий на шее у старухи!

Он не стал заходить в мастерскую, прошел по коридору в уборную, где батареи совсем не топились. Конкретная ненависть к негодяю Косте затмевала сейчас даже постоянное глухое раздражение.

Заходить в мастерскую не хотелось потому еще, что он вспомнил: сегодня старуха собиралась занять у Матвея денег. Он ухмыльнулся мысленно: интересно, как великий Матвей чувствует себя при солидном бумажнике. Бессребреник Матвей, нищий Матвей... Да, старухе никогда прежде не пришло бы в голову одалживаться у него, все знали, что художник живет на копейки. Кажется, он вел где-то студию за какие-то восемьдесят рублей. А что такое восемьдесят рэ при нынешних ценах на холст, краски, кисти? Учитывая, что Матвей работал как вол, можно представить — что из этих восьмидесяти оставалось ему на жизнь. До недавнего времени старуха сама невзначай подкармливала его, подкармливала буквально — бутербродами, кашей какой-нибудь, потому что денег Матвей не брал никогда.

Ну а теперь времена переменялись. Матвей женился. Говорят, супруга — переводчица то ли с испанского, то ли с португальского и гребет приличные гонорары. Во всяком случае, в последний раз Матвей явился в дубленке, в кото-

рой, похоже, не очень свободно себя чувствовал. Хм... интересно, как в таких семьях распределяются отношения?

Перед дверью мастерской в сумраке прихожей изогнулась, заломив руки в неге утреннего пробуждения, обнаженная гипсовая Нора. Когда к старухе являлось много народу, на Нору вешали шарфы и шляпы. Тогда она переставала быть пышущей здоровьем колхозницей и становилась похожей на девку из непристойного варьете. Увы, сама Нора — безотказная натурщица всех скульпторов с Верхней Масловки — умерла лет десять назад. Впрочем, это отдельная, щемяще-грустная история...

Он поймал себя на том, что снова стоит перед дверью мастерской, прислушиваясь к голосам — ворчливому басу старухи и резковатому, притягательно молодому голосу женщины:

— Отчего вам и в самом деле не писать воспоминаний?

— Оттого, что я ненавижу этот жанр, эти сплетни о великих, обязательно с подробностями, вроде с кем он в то время жил и чем болел, словно все это имеет к искусству какое-то отношение... Когда они попросили меня написать воспоминания о Модильяни, я послала их к черту. Что я могла написать: что в начале войны мы жили в одном дворе на Монпарнасе и иногда ходили вместе обедать в соседний ресторанчик? Что он был молчалив и нюхал кокаин? Что од-

16 нажды он сказал мне: «У вас независимая походка» — на что я ответила: «С чего бы ей быть зависимой, если каждый месяц мне присылают двести франков?..»

Женщина расхохоталась, звонко, весело. Он толкнул дверь и вошел.

— Полундра, — сказала старуха, — Петька явился. Сейчас браниться начнет.

Она сидела в кресле, напряженно стараясь не двигаться, — позировала. Напротив и чуть сбоку сидел за этюдником Матвей, хмурый, как всегда, когда работал. Он поднял голову, кивнул и снова уткнулся в палитру, переводя жесткий взгляд с холста на модель.

На Матвея всегда хотелось долго смотреть — он завораживал своей отрешенностью. Не было в нем взбаламученности, суетливости этой, когда каждым словом что-то кому-то доказывают. Похоже, он истово верил в свое предназначение и нес в себе талант с осторожным достоинством, оберегая его от разрушений, которые часто наносит жизнь. Просто жизнь как она есть...

По мастерской разгуливала молодая женщина.

Ай-яй-яй, вот вам и супруга — не знает, что Матвей терпеть не может, когда во время работы кто-то слоняется за спиной. Вот вам и распределение отношений внутри семьи.

На обшарпанном, без скатерти круглом столе лежали в плетенке дорогие конфеты и печенье,

стояли масленка, тарелка с нарезанным хлебом. Неужели старуха успела занять денег? Когда? И кто успел сбегать в магазин? Не Матвей же — его нельзя обременять мирскими заботами.

— Петя, глянь, какую модель отхватил себе Матвей, — сказала старуха. — Простите, милая, опять забыла ваше имя...

— Нина, — невозмутимо ответила женщина. — А впрочем, зовите как вам удобно.

Отлично. Вполне в духе могучей старухи — двадцать раз переспрашивать имя. Такое может вынести не каждый человек.

— Я слышал, не только модель, — он любезно скривил губы, — но и жену.

— Ну, это — так, заодно, — быстро ответила она, не глядя на Петю. — Между прочим...

У нее хорошая реакция, и, кажется, она не глупа, если не надулась на старуху за бестактность... Можно ли назвать ее красивой? Пожалуй, да, хотя ему нравятся женщины другого типа. У этой слишком подвижное лицо, слишком энергичная мимика. И глаза очень живые и очень трезвые. Для женщины — слишком трезвые. Неги — вот чего ей недостает...

— Нина очень черная, ты не находишь, Петя? «Старая дура, вот ты кто».

— Это называется — брюнетка, Анна Борисовна, — сухо ответил он.

— Да, слишком черная. Но для живописи это хорошо, — добавила старуха.

Матвей поднял голову и улыбнулся жене.

— У меня цыгане в роду, — спокойно пояснила Нина.

— А, понятно, почему вы так красиво, так самозабвенно курите... Но цыганки прежде курили трубку. Вы попробуйте, получится оригинально... А я никогда не была ханжой. Я и пила бы, и курила, но у меня всю жизнь было слабое сердце.

— Со слабым сердцем до вашего возраста не доживают, — заметил Петя едко.

Нина ходила вдоль стеллажей, уставленных скульптурами.

— Это Паустовский? — спрашивала она. — Верно? — И удовлетворенно кивала. — А это Брюсов. Да? Он позировал вам? В каком году?

— А черт его знает, не помню, — отвечала старуха, не поворачивая головы.

— Паустовский — в пятьдесят девятом, Брюсов — в двадцать первом, — сказал Петя.

Он ненавидел, когда старуха прикидывалась, будто ей все равно, что думают о ее работах. Впрочем, он несправедлив: старуха никогда не прикидывается ни перед кем. Она естественна в любых обстоятельствах. Просто сейчас она поглощена таинством сотворения портрета. Она позирует великому Матвею.

— Черт! — пробормотал Матвей, хмурясь. — Темно... На сегодня — все, Анна Борисовна. — Он помедлил, положил на холст еще два мазка

и, яростно оторвав кусок газеты, принялся скрести мастихином палитру.

Нина остановилась за его спиной и долго глядела в холст.

— Плохо, плохо... И эта кофта ядовито-зеленая! — добавил Матвей. — Анна Борисовна, неужели другой нет?

— Нет, милый. Вы же знаете, я — женщина-урод, никогда не интересовалась тряпками. Это, разумеется, патология. Нина, вы интересуетесь тряпками?

— Конечно!

— Ну а я всю жизнь была уродом. В Париж приехала в старой юбке, вывезенной из Ростова. Вообще одета была, по всей видимости, ужасно. Носила я тогда две косы, а со лба свисала длинная прядь. Когда по утрам шла в студию — лепить, то рабочие на Монпарнасе часто хватили меня за эту прядь и весело предлагали: идем со мной спать. Представляете, на кого я была похожа!..

— В каком году это было? — живо спросила Нина.

— Это было... Вы будете смеяться — это было в четырнадцатом году... Матвей, ну покажите же портрет!

— Да там еще смотреть не на что, Анна Борисовна! — Он действительно был недоволен портретом. Матвей, как и старуха, никогда не прикидывался. Он неохотно снял портрет с этюд-

20 ника и поставил на пол, к столу, против окна. И отошел опять — чистить палитру. Старуха нащупала палку, тяжело поднялась с кресла и, доковыляв до раскладушки, опустилась на нее, шумно дыша. Минут пять она молча разглядывала подмалевок.

— Смотрите-ка, это рыло еще что-то о себе воображает, — бормотала она, всматриваясь в свое лицо на портрете. — Да... рука Матвея уже видна... Нина, вы знаете, что Матвей — гений?

— Других не держим, — ответила та невозмутимо.

— Анна Борисовна, я же просил! — поморщился Матвей.

Он не кокетничал. Кажется, этими вечными провозглашениями Матвеевой гениальности старуха осточертела ему.

— Да, гений, — твердо продолжала старуха, не обращая внимания на его гримасу. — Художник масштаба эпохи Возрождения.

Матвей вдруг засмеялся невесело и выбил короткую чечетку на гулком цементном полу мастерской.

— Ладно, — сказал он, — не выпить ли чаю по этому поводу?

— Петька, поставь чайник! — велела старуха.

Ну конечно: Петька чайник поставь, Петька сбегай в магазин, Петька прислужи высоким гостям — гению с супругой.

— Давайте я похозяйничаю, — просто сказала Нина. Быстро набрала в огромный, тускложестяной чайник воды, поставила на плитку.

— Матвей, что вы думаете о живописи Руо? — Анна Борисовна взяла со стула, заваленного альбомами, папками, книгами, толстый альбом «Руо». — Идите сядьте рядом. Прежде чем мы встретимся с вами в иных мирах, мне бы еще хотелось понять что-то в живописи.

Матвей присел к ней на раскладушку, и они уткнулись в репродукции.

Нет, полюбуйтесь — ей важно услышать мнение Матвея о живописи Руо. Вот уже полчаса, как Петя вернулся, а она даже не поинтересовалась, чем решился вопрос. Он два месяца ищет работу, он совершенно отчаялся, а ее — нет, ей-богу! — интересуется живопись Руо. И этот гений хренов тоже: чихать ему на жену; она, бедняга, томится и наверняка не чаёт уже сбежать отсюда, — влез по уши в свои заумные рассуждения и никого не видит, не слышит. Да, этим двоим никто не нужен, никто.

— ...Я думаю, на Руо оказали влияние и витражи Шартра, и романские примитивы. И в этом смысле его интересно сопоставить...

— Чайник вскипел! — громко объявила Нина.

...За чаем старуха опять рассказывала о Париже. Признаться, он любил, когда у старухи развязывался язык. Конечно, он в сотый раз слушал все это, но надо отдать ей должное —

22 рассказывала старуха каждый раз внове, просто и небрежно, так же как вспоминала Ростов своего детства и Нахичевань, куда ездила из Ростова на конке. Он следил за ее рассказами ревниво, спешил вставить детали, которые она опускала. При этом машинально делал бутерброды и раздраженно подкладывал их в ее тарелку.

— Однажды лепила в студии обнаженную, — к нам ходила позировать Манон, роскошная баба из номеров, красная, распаренная любовью, как прачка паром, очень монументальная, да... Она потом убила кофейником одного гарсона из кафе напротив, за измену. Впрочем, его нетрудно было убить, мне кажется, достаточно было Манон прижать его к стенке своим бюстом, да... ну, это другая история — о чем я?

— Вы стояли, работали, — громко напомнил Петя, — вдруг заходит...

— Вдруг вбегает молодой человек, вертлявый, тощий, очень подозрительного вида. Метнулся ко мне и говорит: «Вы не могли бы дать мне восемьдесят франков?»

— Это был Цадкин, — поспешил вставить Петя.

— Это был Цадкин... Я так оторопела, что дала четыре франка... Да, деньжата у меня водились, мне присылали родители... И в Париже можно было недорого прожить. Мы, художники и скульпторы из России, обедали в ресторанчике, который держала на Монпарнасе русская

эмигрантка. За один франк там давали несколько блюд. Эмигрантка... Забыла ее имя и лицо смутно представляю, но вот сына ее помню отлично. Витя, журналист. Странный, длинноногий. Приходил, садился в угол, просматривал газеты и запивал их водкой. Отвлеченный человек... Я познакомила его с Ханой Орловой, мы дружили. Она была очень способной в лепке. Так вот, Витя смастерил ей известность всякими журналистскими штучками. Но это было позже, а вначале Орлова снимала небольшую сумрачную комнатку в мансарде. Из окна открывался вид на крыши и помойки. Я привела Цадкина, он ходил по комнате, смотрел скульптуры, кривлялся и причмокивал: «Хорошо, хорошо...», а когда Хана вышла на минутку, свинья Цадкин повторил: «Хорошо... Из нее бы вышла хорошая кухарка».

Да, дворик из окна — зажат крышами, глубокий, как штольня, голуби слетались на помойку... Очень уютный был город — Париж... А поехать за границу тогда было проще простого. Посылался в полицейский участок дворник Василий и через час приносил оттуда заграничный паспорт. Это стоило, если память не изменяет, рублей пятнадцать...

— Что вы делаете! — воскликнул Петя, заметив, что старуха собралась нарезать еще хлеба. — Это нож, которым вы палитру чистите!

24 — Ну и что? — спокойно возразила она. — С микробами надо дружить. Твое чистоплюйство мне осточертело... Нина, Петька готов без конца вылизывать пол, что никому не требуется, мыть посуду, стирать, и вообще он с особым вдохновением занимается бабскими домашними делами.

— Ну и... вернул вам Цадкин четыре франка? — спросила Нина, опасливо косясь на заляпанный краской нож в руке старухи.

— Нет, конечно. Он был нищ и нахален необычайно. Этим он меня интриговал. И такой худой, что приходилось его подкармливать просто из человеческого сострадания. Мы часто обедали вместе. За обед платила я, но давала деньги ему под столом, чтобы его не считали сутенером. Знаете, французы с этим шутить не любят... Да... К процедуре обеда он относился трепетно... Помнится, в день, когда началась Первая мировая война, я бежала по Монпарнасу и наткнулась на Цадкина. Он со своей белой болонкой шествовал в ресторан. «Вы слышали — война?! — крикнула я. — Что вы собираетесь делать?» — «Цадкин должен обедать!» — важно ответил нахал Цадкин...

Петя вскочил, вытащил из ящика кухонного стола нож и со злым лицом бросил его на стол.

— Ну что ты реагируешь, как пьяный гусар в офицерском собрании? — с досадой спросила

его старуха. — Я говорила тебе сотни раз: беспорядок надо рассматривать как натюрморт.

Матвей, меланхолично спокойный, развернул конфету и сказал:

— Вы знаете, что в Пушкинский привезли французов? Курбе, Делакруа...

Матвей всегда умел мягко и незаметно перевести разговор и отвлечь старуху. Да и то сказать — знакомы они лет тринадцать, и художник частенько бывал невольным свидетелем отвратительных, надрывных сцен в мастерской. Матвей вообще был во многое посвящен.

— Как?! Французов привезли? — Старуха заволновалась. — Почему же ни одна сволочь мне не доложила?

— Ну вот, я та сволочь, которая докладывает...

— Нет, Матвей! Матвей, вы понимаете, что это такое?! — Старуха распсиховалась не на шутку, даже палкой в пол стукнула. — Знаете, отчего они все молчат?! Меня ведь туда отвозить надо, а это хлопотно! Хлопотно старую клячу таскать по музеям, по лестницам! А?!

— Ну что вы буйствуете? — враждебно спросил Петя. — Выставку только вчера открыли. Успеете.

— Вот! — с радостной ненавистью проговорила старуха, ткнув пальцем в него, но глядя торжествующе на художника с женой. — Вот!!

26 Он знал! И он молчал, чтобы не возиться, не обременять себя!

— Да!! — крикнул он вдруг, бросив вилку на стол так, что она подпрыгнула и со звоном упала в тарелку. — Да, молчал, потому что в моей жизни есть проблемы поважнее ваших французов! Мне есть куда ходить! Есть чьи пороги коленями отирать!! Есть лестницы, кроме музейных, с которых меня спускают!!

Молодая женщина отрешенно и даже расслабленно разглядывала скульптурную композицию в углу, только брови ее напряженно подрагивали.

Фу, черт, как это он не сдержался перед посторонним человеком! И что за ахинею он понес — где это он колени отирал и с каких таких лестниц его спускали?! И ведь обычные старухины штучки, когда он наконец научится пропускать их мимо ушей!

Он выскочил и, пробормотав что-то неловко-извинительное, боком, торопливо вышел из мастерской.

Но за дверью остановился, прислонился лбом к холодному плечу гипсовой Норы и перевел дыхание. В мастерской старуха спокойно проговорила:

— Да, хотела рассказать вам, Матвей: вчера Сева приволок двух молодых поэтесс, они сидели допоздна, читали свои вирши. Одна совсем неземная, пишет под Гумилева. Потом выяс-

нилось, что она имеет какое-то довольно влиятельное положение в Третьяковке, в закупочной комиссии... Я это к чему, Матвей: к тому, что все эти неземные имеют, как правило, весьма земное и прочное существование...

И Матвей что-то негромко и коротко ответил ей. Спазм бешенства сдавил Пете горло ошейником. Милые люди, славная беседа. Ничего не произошло: мало ли невоспитанных типов околачивается среди нас.

В мастерской с шумом отодвинули стул и кто-то направился к дверям. Метнувшись по коридору, Петя взбежал по лесенке и замер в темноте перед дверью своей каморки. Из мастерской вышла Нина, постояла мгновение, очевидно осваиваясь в полутьме коридора, и неторопливо прошла в сторону уборной. Он смотрел на нее сверху. У нее легкая худошавая фигура. Впрочем, в бедрах не такая уж худошавая. И вообще — что можно сказать о фигуре одетой женщины?

Он вдруг почувствовал сильный, горячий пульс в висках и подумал — а собственно, почему его должна заботить фигура жены Матвея? И зло повторил себе: да-да, жены Матвея, жены, вот именно. А ты стой на этой обшарпанной лестнице и воровато подглядывай, как ходит незнакомая непринужденная женщина, чужая жена. Впрочем, ему нет никакого дела до жены Матвея.

Через минуту Нина вернулась в коридор, стояла несколько мгновений перед томно изогнувшейся Норой, вдруг вздохнула и, как показалось Пете, обреченно потянула на себя дверь мастерской.

А он зашел к себе и с полчаса взбудораженно мотался по комнатенке, то валясь на топчан, то вскакивая и прислушиваясь к невнятице голосов внизу... Потом все-таки не выдержал, спустился и несколько раз бесшумно прошелся по коридору. Смешно — его знобила невыносимая тоска. По какому, позвольте поинтересоваться, случаю?

— ...Приехал он из Италии только один раз за эти десять лет, в прошлом году, когда умерла от инфаркта его мать, моя единственная дочь Саша. Надо было продать дачу и получить наследство, и это обстоятельство влекло его на родину с необыкновенной силой... Вообще он порядочный жулик...

Ага, это она о Мише, и, конечно, не слишком стесняется в выражениях. Миша — жулик?!

— ...Что? Чем он занимается? Боюсь, что он сам не сможет ответить на этот вопрос, — и старуха рассмеялась своим коротким смешком.

Он почувствовал вдруг апатию ко всему. Это часто наваливалось на него в последнее время — ватное безразличие к происходящему и тяжелое желание спать долго, без просыпу. Он медленно поднялся к себе, повалился на топчан и уснул.

Проснулся Петя часа через два от боли в затылке. Не различая век, повернулся на спину, и боль ядовитыми ручейками перелилась в виски. Он тихо замычал и открыл глаза. В комнатке было уже темно.

На его плаще, перекинутом через кресло, лежал изломанный ломоть синего блика от витрины кафе напротив.

Он вспомнил, что сегодня среда. Роза не стряпает, и, значит, с утра старуха не ела горячего. Надо пересилить себя, подняться и сварить хотя бы картошку. Накормить старуху, заодно и самому пожевать что-нибудь.

Не шевелясь, он повел взглядом по стенам. Темнота скрадывала убогую колченогость набранных по знакомым или подобранных где-то вещей. Он представил, как по обшарпанной лестнице сюда поднимается и входит... ну хотя бы секретарша, чьи детские ручки он почтительно и безразлично лобызал сегодня. Ах, Петр Авдеевич, это и есть ваши апартаменты? Впрочем, современное дитя дискотек выражается иначе: дед, скажет она, ну и хата у тебя, смотреть тошно...

Да нет, конечно, это счастье, что к мастерской положена скульпторам подсобка. Здесь он все-таки сам себе господин, старухе трудно подняться даже по этой семиступенчатой лесенке, в противном случае от нее бы не было житья, как прежде, когда они жили в огромной комнате в коммуналке на Садовой-Каретной.

Ну, довольно валяться, надо встать и заняться стряпней. Тонкая острая боль из висков затекла в глазницы, вибрировала, жалила. Он сидел на топчане, потирая лицо и массируя шею...

В мастерской под желтым абажуром пасмурно светилась настольная лампа на корявой бронзовой ноге, не чищенной лет этак двадцать. Старуха сидела в кресле, свесив нос, словно вынюхивая что-то, водила небольшой лупой по страницам мелкого текста в журнале «Иностранная литература».

Когда Петя вошел и, выдвинув из-под кухонного стола фанерный ящик, стал вяло копаться в нем, выбирая картофелины покрепче и покрупнее, она сказала, не оборачиваясь:

— Жую знаменитого Фолкнера. Сева принес вчера. Он совсем затравил меня великой американской литературой...

Петя расстелил на столе старую газету и так же вяло принялся чистить картошку, стараясь пересилить головную боль по-своему: сжимая зубы.

— «Свет в августе»... Первый десяток страниц читаешь с любопытством, — продолжала она. — Потом начинаешь подозревать, что больше всего на свете автора интересует собственное пищеварение. Он подробно и любовно прослеживает, как проглоченный им кусок проходит через пищевод в желудок, переваривается там, попадает в кишечник... И приглашает всех в это

увлекательное путешествие... Когда читатель обнаруживает, что заплутал в лабиринте авторских кишок, он уже начинает догадываться, чем закончится пищеварительный процесс и куда в конце концов он, бедный, выберется...

Петя усмехнулся, срезая кожуру с последней картофелины. Старуха, конечно, пристрастна и совершенно неправа, но какая умница — так припечатать мгновенной и убийственной картинкой. Можно поклясться, что эдакого пенделя Фолкнер не получал ни от одного из своих недоброжелателей.

— Чушь! — буркнул он. — Вы ни черта не смыслите в американской литературе.

— Возможно. После Толстого и Чехова мне скучно копать во внутренностях американца.

Он промолчал, не желая ввязываться в старый спор, поставил кастрюлю с картошкой на плиту, подошел к столу и отломил кусок булочки.

— Откуда эти блага? — он кивнул на стол. — Матвей раскошелился?

— Да нет же, пенсию принесли. За месяц я совсем забываю, что существует такое удовольствие, и каждый раз бываю приятно поражена... Принесли утром, тут Роза как раз случайно забежала...

— Именно Роза забежала не случайно, — перебил он. — Именно Роза прекрасно помнит, когда вам приносят пенсию. Она забежала поживиться. Признайтесь, вы сунули ей трешку?

— Милый мой, а как же? Ведь Роза немедленно сбегала в магазин и купила продукты, я должна была поблагодарить ее за услуги.

— Так! — Он торжественно уселся на табурет, не замечая уже, как в нем просыпается обычное раздражение. — Подсчитать сейчас, сколько содрала с нас мерзавка Роза?

— «Контора пишет», как любил говорить Илюша Ильф, — сказала старуха, — который частенько сидел вот на этом табурете...

— Про Ильфа слышали, — перебил он. — Итак, подсчитаем: что она принесла из магазина? — Он вскочил и рывком открыл дверцу старенького «Саратова» в углу под антресолями. — Так... сыр... ну, здесь полкило, это рупь с полтиной. Колбаса — рупь, не больше, масло... сметана... Итого — четыре восемьдесят, ну пять. Что еще? Конфеты?

— Петька, ты жмот и мелкая личность. Конфеты роскошные, десять рублей кило.

— Эти конфеты стоят четыре пятьдесят, к вашему сведению. Итого — продуктов рублей на двенадцать от силы. Сколько потратила мадам Роза?

— Ну, мальчик... ты что-то путаешь... Я дала Розе четвертную, она принесла трешку сдачи, и я, конечно, эту трешку не взяла. Терпеть не могу крохоборства!

— Прекрасно! — Он торжествовал, он упивался ее житейским идиотизмом. — Так знай-

те, что эта... эта... у меня нет слов, чтобы назвать эту...

— А ты выматерись, — добродушно посоветовала старуха.

— Эта тварь нагрела нас сегодня рублей на пятнадцать! — крикнул он так, что выстрелило в ухе и отдалось в затылок.

— Да? — удивилась старуха. — Ты подумай, как она ловко считает. Ты тоже, мальчик, мастак подсчитывать копейки. Я очень тебе в этом завижидую... У меня с арифметикой всю жизнь обстояло дело худо... Не помню, рассказывала ли я тебе, что мама у нас была прекрасным математиком, она, одной из первых женщин, закончила в Киеве математический факультет. Ее сравнивали с Софьей Ковалевской...

— Слышали раз двадцать о выдающейся маме, — пробормотал он, пробуя вилок, готовили картошка.

— Так вот, нас было четверо детей, и со всеми мама занималась математикой. Нас никогда не наказывали, но во время занятий мама частенько выходила из себя и била меня тетрадкой по голове.

— Ее можно понять. — Он раскладывал по тарелкам картошку, исходящую влажным паром. Положил масла, присолил. Поставил чайник на плиту.

— А когда нам было лет по четырнадцати, мы — пятеро дур-подружек — собирались у нас

34 дома раз в неделю. Шестнадцатилетняя Надя Малкина читала нам лекции о прибавочной стоимости. Мы полагали, что у нас тайный марксистский кружок... Однажды папа случайно услышал в приоткрытую дверь Надину лекцию и вечером, отозвав меня в сторонку, сказал мягко и недоуменно: «Аня, ты же не знаешь арифметики!»

— Давайте ужинать.

Он подтащил кресло с сидящей в нем старухой к столу, пододвинул ей тарелку, нарезал хлеб.

— Это что — картошка? — Она повела носом. — Очень своевременно и толково. Ты и масла положил?

— Положил...

— Удивительно. А посолить не забыл?

— Ешьте, ради бога, когда вам подают, и не учите меня варить картошку!

Некоторое время они ели молча. Мастерские вокруг затихали, художники и скульпторы расходились по домам. Лишь наверху, на втором этаже, поскрипывали половицы антресолей — это все еще работал Саша Соболев, художник, холостяк; он часто оставался в мастерской, и тогда наверху всю ночь будто цапля шелкала — это Саша печатал на своей машинке статьи в газету «Московский художник».

Боль в висках и затылке постепенно угасала, в груди мягчело, свет от старой лампы желтым